

Фрагмент из романа

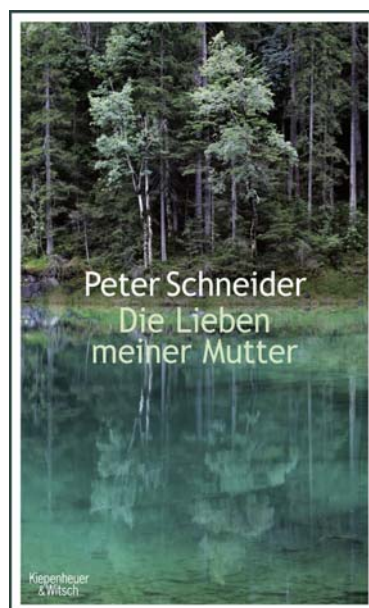
Peter Schneider
Die Lieben meiner Mutter

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013
ISBN 978-3-462-04514-7

C. 7-23

Петер Шнайдер
Возлюбленные моей матери

Перевод с немецкого Алексея Шипулина
Редактор перевода – Мария Зоркая



На фотоснимках – черно-белых, с зубчатыми краями – моя мать почти совсем на себя не похожа. По крайней мере, не похожа на ту маму, которую я сохранил в памяти, – нежную, заботливую, то исполненную печали, то вновь напористую и несокрушимую первобытную силу. На фотоснимках – тоненькая юная особа в простых, большей частью сшитых своими руками платьицах, подчеркивающих талию и грудь; темно-русые локоны зачесаны со лба, короткие волосы едва прикрывают шею, тонкие губы сомкнуты, иногда чуть приоткрыты, будто для вдоха. Она редко улыбается перед камерой и уж во всяком случае – не той исполненной по указке фотографа улыбкой, какую, несмотря на все невзгоды, считало своим долгом изобразить военное поколение, так что фотоальбомы того времени пестрят миллионами беспричинно улыбающихся сородичей. С фотоснимков на меня смотрит молодая серьезная женщина, которая не рисуется и не стремится ничего утаить. Ни одному фотографу не удалось запечатлеть исходившее от нее особое сияние, о котором свидетельствовали поклонники. В кругу друзей она была некой звездой, светом, лучезарным созданием, однако эта ее роль нуждалась для своего отображения в иных средствах, нежели фотография.

Не один десяток лет, переезжая с места на место, я возил с собой коробку из-под обуви. В ней хранились письма моей матери – белые и желтые листки, часто формата А5, вырванные, вероятно, из школьной тетради или блокнота, с карандашными или чернильными строками, написанными старым зюттерлиновским шрифтом.

Иногда коробка пропадала, годами не попадалась мне на глаза. В приступе безотчетного страха я бросался искать ее и нигде не находил. Когда при следующем переезде она внезапно обнаруживалась, я чувствовал такое облегчение, будто обрел что-то бесконечно важное, и принимался читать какое-нибудь из писем. Однако никогда мне не удавалось разобрать больше двух-трех обрывков фраз, и всякий раз я опять забрасывал это дело. Трудно сказать, что тут было причиной, – то ли неосознанное желание

отложить трудное чтение на потом, то ли боязнь открыть тайны, о которых я предпочел бы не знать. Мне нравился девиз, которому следовал Боб Дилан: «Don't look back!»¹ Придумай себя, освободись от всех обстоятельств, связывающих тебя не по твоей воле, особенно – от прошлого, которое ты не выбирал, – своего детства!

Одна моя старая приятельница, знавшая о письмах, поделилась советом, который показался мне достойным внимания: лучшее, что можно сделать с письмами родителей, не адресованными тебе лично – не читая, бросить их в ванну, наполненную водой. Совет вполне соответствовал духу недоверия к родителям, особенно развитому у послевоенного поколения, и он отвечал моей цели «придумать себя». В то же время подобная акция представлялась мне чересчур театральной и не вполне действенной. Как быть с письмами, строки которых не размываются в воде, потому что написаны карандашом? Карандаш надежнее чернил.

Непосредственным побудительным мотивом к расшифровке писем послужило то обстоятельство, что после тридцати лет семейной жизни и после того, как дети разъехались кто куда, я также покинул нашу квартиру и остался наедине с обувной коробкой. Я вел бесконечные монологи, обращаясь к предмету моей разбитой любви, пытался понять причину разлада и каждый новый день находил другое объяснение, которое, однако, ничего не объясняло, – и внезапно мне захотелось узнать, о чем написано в письмах моей матери.

Для начала я, руководствуясь почтовыми штемпелями, разложил по порядку письма, от которых сохранились конверты. Я снимал копии и увеличивал их, надеясь, что так будет легче разобрать быстрой рукой набросанные строки. Я скачал из интернета таблицу с расшифровкой зюттерлиновского шрифта, однако почерк матери мало походил на образец, и я распознал только несколько букв. Под словами и обрывками предложений, которые мне удалось расшифровать, я

¹ Не оглядывайся назад! (англ.)

записывал свой перевод. Стоило, однако, этим заняться, как неразборчивые пассажи между словами совсем лишили меня покоя, как будто хотели сообщить что-то важное, требующее немедленной расшифровки. Прежнее нетерпение, нежелание возиться с письмами представилось вдруг ребячеством, сохранившимся на всю жизнь детским упрямством. Письма позволяли мне стать ближе к матери, о которой у меня сохранились только смутные воспоминания, да что там – вообще впервые с ней познакомиться. Но и другое влекло меня: предчувствие, что найду в них многое о себе и о хроническом невезении, определявшем мою жизнь больше, чем я готов был признать. И еще стремление примириться с матерью. Или, может быть, матери следовало примириться со мной? Последний раз я видел ее, когда мне было восемь лет.

Благодаря помощи Гизелы Деус, которая, будучи почти моей ровесницей, тоже никогда не училась зюттерлиновскому шрифту, письма одно за другим стали раскрывать свой смысл. Гизела еще ребенком пыталась расшифровать письма своих родителей, написанные загадочными значками. С возрастающим любопытством она вникала в почерк и душевное состояние моей матери, однако и ей не всегда удавалось разобрать каждое слово. Со временем у нее развился своего рода охотничий инстинкт, заставлявший ее не бросать сомнительное место или фрагмент предложения до тех пор, пока не найдется решение. Порой, застряв на трудном месте, – рассказывала Гизела, – она варила кофе, включала телевизор или отправлялась за покупками, то и дело волей-неволей мысленно возвращаясь к неясному фрагменту. И внезапно перед ее внутренним взором возникало решение. Обычно ей удавалось сдвинуться с мертвой точки, только вчувствовавшись в стиль речи и душевное состояние моей матери. Гизела удивлялась, что я никогда не утруждал себя подобными вещами. Считала, что стоило мне захотеть, я бы и сам прочитал.

На месяцы и годы переводчица писем моей матери стала для меня незаменимой собеседницей. Вначале мы только корпели над каким-нибудь неразборчивым словом. Потом все чаще обсуждали целые предложения, место в общем контексте и личность автора. Письма все больше увлекали Гизелу, она ими жила и даже идентифицировала себя с их создательницей. Гизелу очаровывала меланхолическая мелодика слов и красота формулировок, в которых моей матери удавалось выразить свои чувства. Бывало, – признавалась мне Гизела, – стоишь на холоде, на ветру, ждешь электричку, как вдруг в памяти вспыхнет какой-нибудь отрывок из недавно переведенного и – прямо мурашки по спине. Превратившись в адвоката моей матери, она не раз опровергала мою трактовку того или иного письма. А когда доходило до споров, мне трудно было отделаться от впечатления, что передо мной не переводчица писем, а их автор.

В письмах передо мной выступала молодая женщина, которую я не знал. Мать, не щадившая себя ради детей и благодаря своей смелости и практическому уму сумевшая сохранить их целыми и невредимыми во время долгого бегства от войны через всю Германию – с северо-востока до самого южного уголка Баварии. Жена, славшая среди тысячи новостей о повседневных заботах и здоровье детей восточки нежной и порой нервной любви своему мужу Генриху. Мечтательница, сжигаемая страстью к Андреасу, другу и коллеге мужа.

А главное – я узнал ее как писательницу, чья душа беспомощно металась между жизнерадостностью и унынием, чьи слова даже в минуты совершенного отчаяния не теряли поразительную силу выразительности. Писательство, очевидно, стало для матери способом выжить, оружием в борьбе с разрушительными силами, теснившими ее снаружи и изнутри. Формой, которую за свою короткую жизнь она нашла для воплощения писательского дара, стали письма. Она умерла в сорок один год.

Она совершенно потеряла власть надо мной, в то время семи-восьмилетним ребенком. Беспомощно приходилось ей наблюдать, как мы со старшей сестрой все больше удаляемся от нее, подпадая под влияние некоего юного мага. По ночам в кровати я превращался в существо иного рода. Я летал, но совсем не так, как летали птицы, кружившие высоко над моей головой в узком пространстве неба, охваченного могучими скальными стенами. Полет рождался из бега, из скорости, – стоит только разогнаться, оттолкнуться, и вот я уже плыву над отвесными склонами, слегка, будто ненароком, касаясь ногами высоких гребней холмов, одного, другого... Пока, наконец, – главное поверить в себя! – и эти легкие касания уже не нужны и только помогают удостовериться, что я не слишком высоко оторвался от земли. И вот ветер свистит у меня в ушах, и мое бескрылое, неоперенное тело вырывается на простор с такой скоростью, что холмы внизу кажутся земляной лавиной, обрушившейся от легкого толчка моей ноги. Целую вечность ношу я в пугающей и великолепной пустоте, легкий, хотя и не совершенно невесомый, ибо мое тело все еще помнит о своем предназначении падать вниз, на землю, которое непременно осуществится, стоит только подумать о возможности падения. Главное – оттянуть это мгновение и вовремя проснуться, прежде чем я рухну с высоты и разобьюсь.

Мечту о полетах я вычитал не из сказок и легенд, скорее ее подсказала сама холмистая местность, где мне довелось жить. Это был мой перевод с того языка, на котором обращался ко мне ландшафт. Деревня внизу долины казалась мне дном озера, берега которого круто вздымаются на недосыгаемую высоту. Только здесь, в деревне на дне озера, дышалось легко и свободно, но стоит удалиться от деревни и дойти до берега, как начинаешь задыхаться. По горным тропам можно взойти туда, где леса редеют и уступают место чахлым кустарникам, и выше, до нижнего края ущелья, усыпанного камнями – камнями, которые, казалось, находились в постоянном тихом

движении, хотя слухом невозможно уловить ни малейшего шума или шороха. У скальных стен, уходящих в небо слева и справа от осыпи, все дороги обрывались. Однажды я в одиночку добрался до ущелья, отделяющего Малый Ваксенштайн от Большого, и взбирался все выше и выше по шатким обломкам камней, которые рассыпались под моими ногами, вызывая небольшие каменные лавины. Но внезапно осыпь передо мной также пришла в движение, будто потревоженная кем-то невидимым, кто шел впереди, каменный поток ринулся вниз и непременно увлек бы меня с собой, если бы я в два-три прыжка не достиг скалистого края осыпи. В следующий раз я решил действовать осторожнее. Остановившись у нижнего конца ущелья, я запомнил расположение каждого крупного и малого обломка вокруг и закрыл глаза. А когда снова открыл, обнаружил, что все маленькие и даже большие камни без малейшего шума сдвинулись со своих прежних мест.

Никогда больше я не поднимался туда. Мир по другую сторону скалистых стен, вспыхивающих в лучах вечернего солнца как эфемерное огненное чудо, остался недостижим.

Моей территорией были крутые склоны холмов меж скальных стен. Слово «склоны», однако, ничего не говорит о той силе, с какой они влекли меня к себе. Эти островерхие холмы – не те обычные возвышенности, на которых хочется постоять, приложив ладонь козырьком ко лбу, и полюбоваться далекими вершинами гор. Они, казалось, постоянно находились в движении, подобно камням в ущелье – волны горной реки, застывшие в стремительном беге вниз, к долине. Они нашептывали мне: не бойся, оторвись от земли, расправь руки и прыгай!

Вилли, старше меня на семь лет, жил в доме архитектора на другой стороне улицы, по диагонали от нас. Я встретился с ним в Цыганском лесу, где банды окрестных детей вели войну друг с другом, вооружившись копьями, луками и стрелами, вырезанными из ивовых и

лещиновых прутьев. Крадучись, пробирались мы лесными тропками меж высоченных елей, утопая по щиколотку в хвое, прячась за толстыми стволами и каменными глыбами, где жили лисы и куницы. Вилли угодил мне копьем в спину, да с такой силой, что я упал навзничь. Он стоял надо мной в ореоле солнечного света, водрузив ногу на мою грудь. Вилли перевернул меня на живот, задрал рубашку, осмотрел дырку в спине, плюнул туда и произнес заклинание, отчего боль мгновенно прошла. Потом усадил меня на закорки и понес домой.

По дороге он рассказывал мне об архангеле Михаиле, наделившем его властью исцелить мою рану. А еще пообещал, что в силу знакомства с ангелом научит меня такому, о чем я лишь мечтал. Например, летать. Да, он знает, что я мечтаю научиться летать, и согласен стать моим наставником в этом искусстве. Но летать, по его разумению, это не просто перепрыгивать с холма на холм или скакать как воробей с крыши на крышу. Летать – это взмывать подобно орлу к самым вершинам снежных гор и свободно парить над облаками и в небесной выси, подобно ангелам. Перед этим, правда, я должен выдержать испытательный срок и ни в коем случае никому не рассказывать о нашем договоре. Ведь стоит мне сболтнуть хоть одно слово, даже он, Вилли, не сможет меня защитить: черти, живущие на чердаках и в стогах сена, схватят меня, станут бить раскаленными плетьюми по голому задку, а потом посыпят раны солью.

Вилли снял меня с плеч за пятьдесят метров от забора нашего дома. «Ни слова, понял? А то твоя рана откроется и нипочем не заживет». Мама спросила, где я столько времени пропадал после школы. Я рассказал ей о наших битвах в Цыганском лесу, однако ни словом не обмолвился о Вилли и о своем ранении. Впервые я что-то утаил от матери.

Несколько дней спустя я повстречал Вилли по дороге из школы. Со школьным ранцем за плечами он казался совсем не таким высоким и внушительным, каким я его запомнил с нашей первой встречи, –

обычный темноволосый пятнадцатилетний паренек с прической на пробор. Я сделал вид, что не узнал его и, не здороваясь, прошел мимо. А он как хлопнет мне рукою по спине, прямо по больному месту! Тут уж я остановился. Вилли поведал, что мой испытательный срок давно уж начался и святой Михаил хочет убедиться в моей верности. Архангелу требуется пропитание и главное – деньги, потому что на небе денег нет, а ведь он, бывает, скитаясь в человеческом обличье по земле, заходит в продуктовую лавку, и ему надо заплатить продавцу, чтобы себя не выдать.

Довод, что архангелу необходимо иметь при себе марку-другую для маскировки, показался мне убедительным. Но продукты? В жизни не слышал, что ангелы принимают, да еще и переваривают пищу.

Со следующего дня я начал воровать редиску, морковку и помидоры, которые мать, подобно всем, кто имел в послевоенные годы клочок земли, выращивала на грядках позади дома. Вилли хвалил меня, хотя был недоволен добычей: архангелу требовались не овощи, а деньги и более солидная еда. Тогда я стал таскать у матери из кошелька деньги и продуктовые карточки. Не знаю, осознавал ли я в то время, что поступаю предосудительно: как-никак, а действовал я по поручению высшей силы. И все же меня не переставало глотать чувство, что воровать – это против правил. А еще я никак не мог понять, почему ангел день ото дня становится все нетерпеливее, если не сказать прожорливее. Мало ему обычных продуктов и денег, он требует роскоши – мяса, шоколада, сигарет. Чем больше я смогу добыть, говорил мне Вилли, тем скорее выучусь летать. Сам не замечу, как постепенно у меня вырастут крылья. Вилли велел мне проверять по воскресеньям руки-ноги и сразу оповестить его о переменах.

Мясо и масло взять мне было негде, зато я мог достать сигареты. Я знал нескольких мальчишек по соседству, которые торговали сигаретами, краденными у американцев из палаток с провиантом.

Скоро я стал воровать деньги и карточки так часто, что мама уже просто не знала, чем объяснить пропажи. От отчаяния она устаивала нам с сестрой допросы, которые я, впрочем, легко выдерживал, потому что был, как ей казалось, слишком мал для воровства. Разве могла она предполагать, что семилетний сын снабжает за ее счет предводителя небесного воинства? В итоге подозрение пало на нашу помощницу по хозяйству.

После школы мы с Вилли встречались позади нашего дома около сарая, под навесом которого висели качели. Каждый вечер мы там учились летать. Моя задача состояла в том, чтобы как можно сильнее раскачаться и в последний миг, когда голова уже почти задевает за балки навеса, спрыгнуть с качелей. Вилли научил меня в прыжке выбрасывать руки вперед и сгибать колени перед самым приземлением, таким образом продлевая полет еще на несколько сантиметров. Вилли сказал, что когда я смогу достичь линии, которую он прочертил на земле и сам регулярно перепрыгивал, архангел Михаил примет меня в свои ученики.

Но как бы я ни раскачивался, как бы отважно ни прыгал с высоты качелей в неизвестность, линия оставалась для меня недосягаемой. Я злился на Вилли, злился на архангела и требовал ответа, почему, несмотря на щедрые подарки, он ни разу мне не показался. Я же для него опустошил половину кладовки! Вилли утешал: разве я не заметил, что пролетел сегодня почти на целый метр дальше, чем в начале наших тренировок? Архангел может простить многое, но только не сомнение в его силе и правдивости обещаний.

Неужели мать не подозревала, что я полностью попал под чужое влияние? Или не хотела ничего замечать, ей и без того хватало забот с четырьмя детьми? Каково всех прокормить и обшить! Судя по письмам, вначале Вилли даже понравился матери. Втерся ей в доверие, иногда помогая нести покупки и перетаскивая тяжелые поленья в сарай с

улицы, где их сгружал торговец. Возможно, польза от него была и еще кое в чем. Всякий раз, когда к матери приезжали гости из города, а приезжали они часто, Вилли оказывался тут как тут. Поскольку дома наши стояли друг напротив друга, он отлично видел с балкона, кто входит к нам и кто выходит. Чаще всего показывалась Линда, лучшая подруга матери, гостившая у нас по нескольку дней, а то и недель. Но иногда бывали и мужчины, друзья семьи, как их представляли, с тонкими пальцами, одетые в костюмы, – театральные актеры и режиссеры, прибывшие издалека. Они привозили матери и нам подарки, которых не купишь в деревне, гладили нас по головке и терпеливо повторяли имена, когда мать нас представляла. После чего сразу путали, кого как зовут, да и мы тоже их имена забывали. Мы знали, что матери не до нас, когда в доме гости, и Вилли это тоже знал. Подойдет к садовой калитке и кликнет Ханну или меня. Мигом смекнул, что мать будет только рада, если он на время заберет детей.

Однажды мы с Вилли забрались на крышу дровяного сарая, чтобы проделывать наши летные упражнения с большей высоты. Только я собирался прыгнуть, как Вилли меня задержал, указывая на окно материнской спальни. Там он якобы видел мою мать, обнимавшуюся с чужим мужчиной из Берлина. Вилли уверял, что они целовались. Я вперил взгляд в темные оконные стекла, но сколько ни напрягал глаза, так ничего и не разглядел. Я разозлился на Вилли: отстань ты, говорю, со своими дурацкими шутками.

«Ну же, прыгай, – поторопил Вилли, – или боишься?» Он оттолкнулся от крыши. Я сиганул за ним – и здорово удивился. Размахиваю руками, но – в отличие от птиц – лететь никак не получается. Грохнувшись о землю, я уже был рад, что все-таки сумел встать. Вилли помог мне подняться и велел идти за ним. Сейчас он, мол, докажет, что не врет. Дома у него есть такой аппарат, с помощью которого можно смотреть в закрытые окна, через шторы и даже сквозь стены. Мы побежали по крутой улочке к садовой калитке и дальше, в дом. Прижимая палец к губам, он проскользнул по лестнице на третий

этаж и достал из тайника в своей комнате неведомый мне прибор. Внутри – маленькие круглые стеклышки в оправках, которые можно вращать туда и сюда. Вилли строго-настрого приказал никому не рассказывать об этом приборе, он ведь его выменял в последние дни войны у одного горного стрелка на старые отцовские штаны. Затем он вывел меня из комнаты на балкон, дал в руки эту штуковину и показал, как при помощи колесика устанавливать резкость.

Я направил прибор в сторону нашего дома. Долго наводил фокус, пока, наконец, в пугающей близости не разглядел наш эркер с шестью оконными створками. Однако стоило сдвинуть колесико, как картинка пропала и перед глазами оказалось нечто белое, бугристое, с огромными черными пятнами.

«Береза перед вашим домом», – объяснил Вилли.

Вдруг он заставил меня пригнуться: «Вот они!» Я отнял прибор от глаз, все равно ничего не видно, и прильнул к балконной ограде, к отверстию в форме сердечка. Мама в сопровождении берлинского гостя выходила из дома. Они прошли прямо под балконом, где стояли мы, и направились в сторону церкви. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись за поворотом. Вилли сказал, что знает, где эта парочка покажется опять.

Мы убивали время, приближая всякие далекие предметы: циферблат часов на колокольне, стог сена высоко среди холмов, где, по утверждению Вилли, до сих пор скрывались горные стрелки, а еще – ущелье между Большим Ваксенштайном и Малым, теперь покрытое снегом и сбегающее большим белым извивом к зеленым холмам. Вдруг Вилли присвистнул: «Ага, вот они и попались!» Он видел, как мать с гостем идут по крутой горной тропе, ведущей через пастбище Нойнеральм от церкви к Медвежьему лесу. Вилли подробно докладывал: вот они остановились, вот сели на скамейку передохнуть, вот встают и поднимаются дальше по склону. «Ух ты, обнимаются!» Я вырвал прибор у него из рук и принялся вовсю крутить колесико, но не мог разглядеть ничего, кроме холмов и еловых верхушек. Вилли

показал мне еще раз, как устанавливать резкость, и велел ни в коем случае больше не трогать колесико. Вначале я видел только пугающе глубокие трещины в серой скальной поверхности Малого Ваксенштайна, который прежде казался мне незыблемым. Так близко очутилась вдруг гора – протяни руку и дотронешься. Дальше внизу, на фоне огненно-красной скалы, я различил две крохотные фигурки: они двигались и будто сливались воедино в лучах заходящего солнца. Казалось, солнце решило подольше задержаться на небосклоне, чтобы навеки выжечь в камне их позор. И в эту минуту я боялся – нет, я с нетерпением ждал, что вот-вот с горы сорвется камень и положит конец всему этому безобразию.